

# Константин Паустовский

## ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы-Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Саврасов пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова

— Нету у России своего выразителя, — говорил Саврасов. — Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки. Тихая была старушенция, все

моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал-совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил рюмку водки. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка

вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

— Работает же во Франции, — сказал он, поперхнувшись, — замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, — сказал он со злобой и встал. — Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек-подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии — сидел, сторбившись, за столом в московском

трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго, — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещающий евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и  
ласковый и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки, он запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну

железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, — глаза поющих всегда полузакрываются и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды, — в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по

ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков, — в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холсте — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила». — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, — почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, — где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!